Влияние профессии на творчество

Составили:

Каменева Кира Дмитриевна

Арустамьян Дара

Пантелеева Яна

Фетисова Полина



Михаил Афанасьевич Булгаков

(3 мая 1891 – 10 марта 1940)

Русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр. Автор повестей и рассказов, множества фельетонов, пьес, инсценировок, киносценариев, оперных либретто.

**Стальное горло**

   Итак, я остался один. Вокруг меня – ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завыло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе – он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете…  
   «…Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только…»  
   Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай…  
   И вот я заснул: отлично помню эту ночь – 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:  
   – Слабая девочка, помирает… Пожалуйте, доктор, в больницу…  
   Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки – Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей.  
   Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел.

Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей – волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, – ей нечем было дышать. «Она умрет через час», – подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось…  
   Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно, и, главное, одновременно с акушерками, – они-то были опытны: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо…»  
   – Сколько дней девочка больна? – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.  
   – Пятый день, пятый, – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.  
   – Дифтерийный круп, – сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: – Ты о чем же думала? О чем думала?  
   И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:  
   – Пятый, батюшка, пятый!  
   Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», – подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:  
   – Ты, бабка, замолчи, мешаешь. – Матери же повторил: – О чем ты думала? Пять дней? А?  
   Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.  
   – Дай ей капель, – сказала она и стукнулась лбом в пол, – удавлюсь я, если она помрет.  
   – Встань сию же минуточку, – ответил я, – а то я с тобой и разговаривать не стану.  
   Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:  
   – Так они все делают. На-род. – Усы у него при этом скривились набок.  
   – Что ж, значит, помрет она? – глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.  
   – Помрет, – негромко и твердо сказал я.  
   Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:  
   – Дай ей, помоги! Капель дай!  
   Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.  
   – Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?  
   – Тебе лучше знать, батюшка, – заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.  
   – Замолчи! – сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.  
   – Вот что, – сказал я, удивляясь собственному спокойствию, – дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного – операции.  
   И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» – мелькнула у меня мысль.  
   – Как это? – спросила мать.  
   – Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее, – объяснил я.  
   Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:  
   – Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!  
   – Уйди, бабка! – с ненавистью сказал я ей. – Камфару впрысните! – приказал я фельдшеру.  
   Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.  
   – Может, это ей поможет? – спросила мать.  
   – Нисколько не поможет.  
   Тогда мать зарыдала.  
   – Перестань, – промолвил я. Вынул часы и добавил: – Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.  
   – Не согласна! – резко сказала мать.  
   – Нет нашего согласия! – добавила бабка.  
   – Ну, как хотите, – глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: – Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?  
   – Нет! – снова крикнула мать.  
   Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:  
   – Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.  
   – Нет! Нет!  
   – Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.  
   Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:  
   – Соглашаются!  
   Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:  
   – Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!  
   Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», – подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.  
   В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:  
   – Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.  
   – Бабку эту вон! – закричал я и в запальчивости добавил: – Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!  
   Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты.  
   – Готово! – вдруг сказал фельдшер.  
   Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку… В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городу. Придет, узнает, что я наделала, – убьет меня!»  
   – Убьет, – повторила бабка, глядя на меня в ужасе.  
   – В операционную их не пускать! – приказал я.  
   Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка – девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож; при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец, – подумал я, – зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей…» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать», – так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.  
   – Крючки! – сипло бросил я.  
   Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой – с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло – и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, – подумал я, – теперь уж, несомненно, зарезали мы Лидку, – и мысленно строго добавил: – Только дойду домой – и застрелюсь…» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:  
   – Продолжайте, доктор…  
   Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.  
   Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала:  
   – Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.  
   Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила у меня:  
   – Что?  
   Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:  
   – Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.  
   И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.  
   Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся – узнал.  
   – А, Лидка! Ну, что?  
   – Да хорошо все.  
   Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять ей подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.  
   – Все в порядке, – сказал я, – можете больше не приезжать.  
   – Благодарю вас, доктор, спасибо, – сказала мать, а Лидке велела: – Скажи дяденьке спасибо!  
   Но Лидка не желала мне ничего говорить.  
   Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:  
   – За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.  
   – Так и живет со стальным? – осведомился я.  
   – Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!  
   – М-да… Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, – сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного – спать.



Антон Павлович Чехов

(17 января 1860 – 2 июля 1904)

Русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы. По образованию врач. Почетный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности (1900-1902). Один из известнейших драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 различных языков.

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник – это было Вознесение, – после приема больных Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было) и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия…

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

– Здравствуйте пожалуйста, – сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. – Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, – продолжал он, представляя доктора жене, – я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

– Садитесь здесь, – говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. – Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

– Ах ты, цыпка, баловница… – нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. – Вы очень кстати пожаловали, – обратился он опять к гостю, – моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

– Жанчик, – сказала Вера Иосифовна мужу, – dites que l’on nous donne du thе.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

– Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал…» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука… В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, – читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, – не хотелось вставать.

– Недурственно… – тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

– Да… действительно…

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

– Вы печатаете свои произведения в журналах? – спросил у Веры Иосифовны Старцев.

– Нет, – отвечала она, – я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? – пояснила она. – Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

– А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, – сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель… Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, – было так приятно, так ново…

– Ну, Котик, сегодня ты играла как никогда, – сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. – Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

– Прекрасно! Превосходно!

– Прекрасно! – сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. – Вы где учились музыке? – спросил он у Екатерины Ивановны. – В консерватории?

– Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

– Вы кончили курс в здешней гимназии?

– О нет! – ответила за нее Вера Иосифовна. – Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

– А все-таки в консерваторию я поеду, – сказала Екатерина Ивановна.

– Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

– Нет, поеду! Поеду! – сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю…

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

– А ну-ка, Пава, изобрази! – сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

– Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», – подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный…

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно…» – вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте…

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто… Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени…

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

– Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

– Вы по три, по четыре часа играете на рояле, – говорил он, идя за ней, – потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, а на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

– Я не видел вас целую неделю, – продолжал Старцев, – а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

– Что вам угодно? – спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

– Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все С-ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

– Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? – спросил он теперь. – Говорите, прошу вас.

– Я читала Писемского.

– Что именно?

– «Тысяча душ», – ответила Котик. – А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

– Куда же вы? – ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. – Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться… Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, – прочел Старцев, – будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, – подумал он, придя в себя. – При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, – думал он. – Котик тоже странная, и – кто знает? – быть может, она не шутит, придет», – и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же…» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, – мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние…

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь, ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным…

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, – уже было темно, как в осеннюю ночь, – потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

– Я устал, едва держусь на ногах, – сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», – думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач…»

«Ну, что ж? – думал он. – И пусть».

«К тому же если ты женишься на ней, – продолжал кусочек, – то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? – думал он. – В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку…»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он – оставаться тут ему было уже незачем – поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

– Делать нечего, – сказал Иван Петрович, – поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

– Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, – говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, – он идет, пока врет… Трогай! Прощайте пожалуйста! Поехали.

– А я вчера был на кладбище, – начал Старцев. – Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны…

– Вы были на кладбище?

– Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал…

– И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

– Довольно, – сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

– Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

– О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична… Прошу, умоляю вас, – выговорил наконец Старцев, – будьте моей женой!

– Дмитрий Ионыч, – сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. – Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но… – она встала и продолжала стоя, – но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех… – у нее слезы навернулись на глазах, – я сочувствую вам всей душой, но… но вы поймете…

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено, – он не ожидал отказа, – и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

– Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, – это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек – желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, – было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. Я.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

– А, здравствуйте пожалуйста! – встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. – Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

– Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое – несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

– Сколько лет, сколько зим! – сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: – Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, – он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, – и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, – думал он, – не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

– Недурственно, – сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», – подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

– Давайте же поговорим, – сказала она, подходя к нему. – Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, – продолжала она нервно, – я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, – бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдемте в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

– Как же вы поживаете? – спросила Екатерина Ивановна.

– Ничего, живем понемножку, – ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

– Я волнуюсь, – сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, – но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

– А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? – сказал он. – Тогда шел дождь, было темно…

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь…

– Эх! – сказал он со вздохом. – Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь – сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

– Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! – повторила Екатерина Ивановна с увлечением. – Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным…

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

– Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, – продолжала она. – Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

– Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, – говорил Иван Петрович, провожая его. – Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! – сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, подняв вверх руку и сказал трагическим голосом:

– Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу – и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? – писала она. – Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Г.».

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

– Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и… не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным: «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

– Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно, оттого что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

– Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все – и старшины клуба, и повар, и лакей – знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

– Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

– Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

– Прощайте пожалуйста!

И машет платком.



Артур Конан Дойл

(22 мая 1859 – 7 июля 1930)

Английский писатель (по образованию врач), автор многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. Создатель классических персонажей детективной, научно-фантастической и историко-приключенческой литературы — гениального сыщика Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского офицера Жерара. Со второй половины 1910-х годов и до конца жизни — активный сторонник и пропагандист идей спиритуализма.

**Дьяволова нога**

Пополняя время от времени записи о моем старом друге, мистере Шерлоке

Холмсе, новыми удивительными событиями и интересными воспоминаниями, я то

и дело сталкивался с трудностями, вызванными его собственным отношением к

гласности. Этому угрюмому скептику претили шумные похвалы окружающих, и

после блестящего раскрытия очередной тайны он от души развлекался, уступив

свои лавры какому-нибудь служаке из Скотленд-Ярда, и с язвительной

усмешкой слушал громкий хор поздравлений не по адресу. Подобное поведение

моего друга, а вовсе не отсутствие интересного материала и привело к тому,

что за последние годы мне редко удавалось публиковать новые записи. Дело в

том, что участие в некоторых его приключениях было честью, всегда

требующей от меня благоразумия и сдержанности.

Представьте же мое изумление, когда в прошлый вторник я получил

телеграмму от Холмса (он никогда не посылал писем, если можно было

обойтись телеграммой). Она гласила: "Почему не написать о Корнуэльском

ужасе - самом необычном случае в моей практике". Я решительно не понимал,

что воскресило в памяти Холмса это событие или какая причуда побудила его

телеграфировать мне, однако, опасаясь, как бы он не передумал, я тут же

разыскал записи с точными подробностями происшествия и спешу представить

читателям мой рассказ.

Весной 1897 года железное здоровье Холмса несколько пошатнулось от

тяжелой, напряженной работы, тем более, что сам он совершенно не щадил

себя. В марте месяце доктор Мур Эгер с Харли-стрит, который познакомился с

Холмсом при самых драматических обстоятельствах, о чем я расскажу

как-нибудь в другой раз, категорически заявил, что знаменитому сыщику

необходимо временно оставить всякую работу и как следует отдохнуть, если

он не хочет окончательно подорвать свое здоровье. Холмс отнесся к этому

равнодушно, ибо умственная его деятельность совершенно не зависела от

физического состояния, но когда врач пригрозил, что Холмс вообще не сможет

работать, это убедило его наконец сменить обстановку. И вот ранней весной

того года мы с ним поселились в загородном домике близ бухты Полду на

крайней оконечности Корнуэльского полуострова.

Этот своеобразный край как нельзя лучше соответствовал угрюмому

настроению моего пациента. Из окон нашего беленого домика, высоко стоящего

на зеленом мысе, открывалось все зловещие полукружие залива Маунтс-Бей,

известного с незапамятных времен как смертельная ловушка для парусников:

скольких моряков настигла смерть на его черных скалах и подводных рифах.

При северном ветре залив выглядел безмятежным, укрытым от бурь и манил к

себе гонимые штормом суда, обещая им покой и защиту. Но внезапно с

юго-запада с ревом налетал ураган, судно срывалось с якоря, и у

подветренного берега, в пене бурунов, начиналась борьба не на жизнь, а на

смерть. Опытные моряки держались подальше от этого проклятого места.

Суша в окрестностях нашего дома производила такое же безотрадное

впечатление, как и море. Кругом расстилалась болотистая равнина, унылая,

безлюдная, и лишь по одиноким колокольням можно было угадать, где

находятся старинные деревушки. Всюду виднелись следы какого-то древнего

племени, которое давно вымерло и напоминало о себе только причудливыми

каменными памятниками, разбросанными там и сям могильными курганами и

любопытными земляными укреплениями, воскрешающими в памяти доисторические

битвы. Колдовские чары этого таинственного места, зловещие призраки

забытых племен подействовали на воображение моего друга, и он подолгу

гулял по торфяным болотам, предаваясь размышлениям. Холмс заинтересовался

также древним корнуэльским языком и, если мне не изменяет память,

предполагал, что он сродни халдейскому и в значительной мере заимствован у

финикийских купцов, приезжавших сюда за оловом. Он выписал кучу книг по

филологии и засел было за развитие своей теории, как вдруг, к моему

глубокому сожалению и его нескрываемому восторгу, мы оказались втянутыми в

тайну - более сложную, более захватывающую и уж, конечно, в сто раз более

загадочную, чем любая из тех, что заставили нас покинуть Лондон. Наша

скромная жизнь, мирный, здоровый отдых были грубо нарушены, и нас

закружило в водовороте событий, которые потрясли не только Корнуэлл, но и

всю западную Англию. Многие читатели помнят, наверное, о "Корнуэльском

ужасе", как это тогда называлось, хотя должен вам сказать, что лондонская

пресса располагала весьма неполными данными. И вот теперь, через

тринадцать лет, настало время сообщить вам все подлинные подробности этого

непостижимого происшествия.

Я уже говорил, что редкие церковные колоколенки указывали на деревни,

разбросанные в этой части Корнуэлла. Ближайшей к нам оказалась деревушка

Тридэнник-Уоллес, где домики сотни-другой жителей лепились вокруг древней

замшелой церкви. Священник этого прихода, мистер Раундхэй, увлекался

археологией; на этой почве Холмс и познакомился с ним. Это был радушный

толстяк средних лет, неплохо знавший здешние места. Как-то он пригласил

нас к себе на чашку чая, и у него мы встретились с мистером Мортимером

Тридженнисом, состоятельным человеком, который увеличивал скудные доходы

священника, снимая несколько комнат в его большом, бестолково построенном

доме. Одинокий священник был доволен этим, хотя имел мало общего со своим

жильцом, худощавым брюнетом в очках, до того сутулым, что с первого

взгляда казался горбуном. Помню, что за время нашего недолгого визита

священник произвел на нас впечатление неутомимого говоруна, зато жилец его

был до странности необщителен, печален, задумчив; он сидел, уставившись в

одну точку, занятый, видимо, собственными мыслями.

И вот во вторник, шестнадцатого марта, когда мы докуривали после

завтрака, готовясь к обычной прогулке на торфяные болота, в нашу маленькую

гостиную ворвались два этих человека.

- Мистер Холмс, - задыхаясь, проговорил священник, - этой ночью

произошла ужасная трагедия? Просто неслыханно! Наверное, само Провидение

привело вас сюда как раз вовремя, потому что если кто-нибудь в Англии и

может помочь, то это вы!

Я бросил не слишком дружелюбный взгляд на назойливого священника, но

Холмс вынул изо рта трубку и насторожился, как старый гончий пес,

услышавший зов охотника. Он знаком предложил им сесть, и наш

взбудораженный посетитель со своим спутником уселись на диван. Мистер

Мортимер Тридженнис больше владел собой, но судорожное подергивание его

худых рук и лихорадочный блеск темных глаз показывали, что он взволнован

ничуть не меньше.

- Кто будет рассказывать, я или вы? - спросил он священника.

- Я не знаю, что у вас случилось, - сказал Холмс, - но раз уж, судя

по всему, открытие сделали вы, то вы и рассказывайте: ведь священник узнал

об этом уже от вас.

Я взглянул на одетого наспех священника и его аккуратного соседа и в

душе позабавился тому изумлению, которое вызвал на их лицах простой

логический вывод Холмса.

- Позвольте мне сказать несколько слов, - начал священник, - и тогда

вы сами решите, выслушать ли вам подробности от мистера Тридженниса или

лучше немедленно поспешить к месту этого загадочного происшествия.

Случилось вот что: вчера вечером наш друг был в гостях у своих братьев

Оуэна и Джорджа и сестры Брэнды в их доме в Тридэнник-Уорта, что

неподалеку от древнего каменного креста на торфяных болотах. Он ушел от

них в начале одиннадцатого, до этого они играли в карты в столовой, все

были здоровы, и прекрасном настроении. Сегодня утром, еще до завтрака, наш

друг - он всегда встает очень рано - пошел прогуляться в направлении дома

своих родственников, и тут его нагнал шарабан доктора Ричардса: оказалось,

что того срочно вызвали в Тридэнник-Уорта. Конечно, мистер Мортимер

Тридженнис поехал вместе с ним. Приехав, они обнаружили нечто невероятное.

Сестра и братья сидели вокруг стола точно в тех же позах, как он их

оставил, перед ними еще лежали карты, но свечи догорели до самых розеток.

Сестра лежала в кресле мертвая, а с двух сторон от нее сидели братья: они

кричали, пели, хохотали... разум покинул их. У всех троих - и у мертвой

женщины и у помешавшихся мужчин - на лицах застыл невыразимый страх,

гримаса ужаса, на которую жутко смотреть. Нет никаких признаков, что в

доме были посторонние, если не считать миссис Портер, их старой кухарки и

экономки, которая сообщила, что всю ночь крепко спала и ничего не слыхала.

Ничего не украдено, все в полном порядке, и совершенно непонятно, чего они

испугались настолько, что женщина лишилась жизни, а мужчины - рассудка.

Вот вкратце и все, мистер Холмс, и если вы поможете нам разобраться во

всем этом, вы сделаете великое дело.

Я еще надеялся уговорить моего друга вернуться к отдыху,

составлявшему цель нашей поездки, но стоило мне взглянуть на его

сосредоточенное лицо и нахмуренные брови, как стало ясно, что надеяться не

на что. Холмс молчал, поглощенный необычайной драмой, ворвавшейся в нашу

тихую жизнь.

- Я займусь этим делом, - сказал он наконец. - Насколько я понимаю,

случай исключительный. Сами вы там были, мистер Раундхэй?

- Нет, мистер Холмс. Как только я узнал от мистера Тридженниса об

этом несчастье, мы тут же поспешили к вам, чтобы посоветоваться.

- Далеко ли дом, где разыгралась эта ужасная трагедия?

- Около мили отсюда.

- Значит, отправимся вместе. Но сначала, мистер Мортимер Тридженнис,

я хочу задать вам несколько вопросов.

За все это время тот не произнес ни звука, но я заметил, что

внутренне он встревожен куда больше, чем суетливый и разговорчивый

священник. Лицо его побледнело, исказилось, беспокойный взгляд не

отрывался от Холмса, а худые руки сжимались и разжимались. Когда священник

рассказывал об этом страшном происшествии, побелевшие губы Тридженниса

дрожали, и казалось, что в его темных глазах отражается эта ужасная

картина.

- Спрашивайте обо всем, что сочтете нужным, мистер Холмс, - с

готовностью сказал он. - Тяжело говорить об этом, но я не скрою от вас

ничего.

- Расскажите мне о вчерашнем вечере.

- Так вот, мистер Холмс, как уже говорил священник, мы вместе

поужинали, а потом старший брат Джордж предложил сыграть в вист. Мы сели

за карты около девяти. В четверть одиннадцатого я собрался домой. Они

сидели за столом, здоровые и веселые.

- Кто закрыл за вами дверь?

- Миссис Портер уже легла, и меня никто не провожал. Я сам захлопнул

за собой входную дверь. Окно в комнате, у которого они сидели, было

закрыто, но шторы не спущены. Сегодня утром и дверь и окно оказались в том

же виде, что и вчера, и нет причины думать, что в дом забрался чужой. И

все-таки страх помутил рассудок моих братьев, страх убил Брэнду... если б

вы видели, как она лежала, свесившись через ручку кресла... До самой

смерти не забыть мне этой комнаты.

- То, что вы рассказываете, просто неслыханно, - сказал Холмс. - Но,

насколько я понимаю, у вас нет никаких предположений о причине

происшедшего?

- Это дьявольщина, мистер Холмс, дьявольщина! - воскликнул Мортимер

Тридженнис. - Это нечистая сила! В комнату проникает что-то ужасное, и

люди лишаются рассудка. Разве человек способен на такое?

- Ну, если человеку такое не под силу, то, боюсь, и разгадка окажется

мне не под силу, - заметил Холмс. - Однако, прежде чем принять вашу

версию, мы должны испробовать все реальные причины. Что касается вас,

мистер Тридженнис, то вы, как я понял, в чем-то не ладили со своими

родными, - ведь вы жили врозь, верно?

- Да, так оно и было, мистер Холмс, хотя это - дело прошлое. Видите

ли, нашей семье принадлежали оловянные рудники в Редруте, но потом мы

продали их Компании и, получив возможность жить безбедно, уехали оттуда.

Не скрою, что при дележе денег мы поссорились и разошлись на некоторое

время, но что было, то прошло, и мы снова стали лучшими друзьями.

- Однако вернемся к событиям вчерашнего вечера. Не припомните ли вы

что-нибудь, что могло бы хоть косвенно натолкнуть нас на разгадку этой

трагедии? Подумайте как следует, мистер Тридженнис, любой намек мне

поможет.

- Нет, сэр, ничего не могу припомнить.

- Ваши родные были в обычном настроении?

- Да, в очень хорошем.

- Не были они нервными людьми? Не бывало ли у них предчувствия

приближающейся опасности?

- Нет, никогда.

- Больше вы ничем не можете помочь мне?

Мортимер Тридженнис напряг память.

- Вот что я вспомнил, - сказал он наконец. - Когда мы играли в карты,

я сидел спиной к окну, а брат Джордж, мой партнер, - лицом. И вдруг я

заметил, что он пристально смотрит через мое плечо, и я тоже обернулся и

посмотрел. Окно было закрыто, но шторы еще не спущены, и я разглядел кусты

на лужайке; мне показалось, что в них что-то шевелится. Я даже не понял,

человек это или животное. Но подумал, что там кто-то есть. Когда я спросил

брата, куда он смотрит, он ответил, что ему тоже что-то показалось. Вот,

собственно, и все.

- И вы не поинтересовались, что это?

- Нет, я тут же забыл об этом.

- Когда вы уходили, у вас не было дурного предчувствия?

- Ни малейшего.

- Мне не совсем ясно, как вы узнали новости в такой ранний час.

- Я обычно встаю рано и до завтрака гуляю. Только я вышел сегодня

утром, как меня нагнал шарабан доктора. Он сказал, что старая миссис

Портер прислала за ним мальчишку и спешно требует его туда. Я вскочил в

шарабан, и мы поехали. Там мы сразу бросились в эту жуткую комнату. Свечи

и камин погасли уже давно, и они до самого рассвета были в темноте. Доктор

сказал, что Брэнда умерла по крайней мере шесть часов назад. Никаких

следов насилия. Она лежала в кресле, перевесившись через ручку, и на лице

ее застыло это самое выражение ужаса. Джордж и Оуэн на разные голоса

распевали песни и бормотали, как два каких-нибудь орангутанга. О, это было

ужасно! Я еле выдержал, а доктор побелел как полотно. Ему стало дурно, и

он упал в кресло, - хорошо еще, что нам не пришлось за ним ухаживать.

- Поразительно... просто поразительно, - сказал Холмс, вставая, и

взялся за шляпу. - По-моему, лучше, не теряя времени, отправиться в

Тридэнник-Уорта. Должен признаться, что редко мне встречалось дело,

которое на первый взгляд казалось бы столь необычайным.

В то утро наши розыски продвинулись мало. Зато в самом же начале

произошел случай, который оказал на меня самое гнетущее действие. Мы шли к

месту происшествия по узкой, извилистой проселочной дороге. Увидев

тарахтящую навстречу карету, мы сошли на обочину, чтобы пропустить ее.

Когда она поравнялась с нами, за поднятым стеклом метнулось оскаленное,

перекошенное лицо с вытаращенными глазами. Эти остановившиеся глаза и

скрежещущие зубы промелькнули мимо нас, как кошмарное видение.

- Братья! - весь побелев, воскликнул Мортимер Тридженнис. - Их увозят

в Хелстон!

В ужасе мы смотрели вслед черной карете, громыхающей по дороге, потом

снова направились к дому, где их постигла такая странная судьба.

Это был просторный, светлый дом, скорее вилла, чем коттедж, с большим

садом, где благодаря мягкому корнуэльскому климату уже благоухали весенние

цветы. В этот сад и выходило окно гостиной, куда, по утверждению Мортимера

Тридженниса, проник злой дух и принес столько несчастий хозяевам дома.

Прежде, чем подняться на крыльцо, Холмс медленно и задумчиво прошелся по

дорожке и между клумбами. Я помню, он был так занят своими мыслями, что

споткнулся о лейку, и она опрокинулась на садовую дорожку, облив нам ноги.

В доме нас встретила пожилая экономка, миссис Портер, которая вела здесь

хозяйство с помощью молоденькой служанки. Она с готовностью отвечала на

все вопросы Холмса. Нет, она ничего не слышала ночью. Да, хозяева в

последнее время были в прекрасном настроении: никогда она не видела, чтоб

они были такие веселые и довольные. Она упала в обморок от ужаса, когда

зашла утром в комнату и увидела их за столом. Опомнившись, она распахнула

окно, чтобы впустить утренний воздух, бросилась на дорогу, окликнула

фермерского мальчишку и послала его за доктором. Если мы хотим посмотреть,

то хозяйка лежит в своей спальне. Четверо здоровенных санитаров еле

справились с братьями, усаживая их в карету. А она сама и до завтра не

останется в этом доме, немедленно уедет в Сент-Айвс к своим родным.

Мы поднялись наверх и осмотрели тело Брэнды Тридженнис. Даже сейчас

всякий сказал бы, что в молодости она была красавицей. И после смерти она

была прекрасна, хотя тонкие черты ее смуглого лица хранили печать ужаса -

последнего ее ощущения при жизни. Из спальни мы спустились в гостиную, где

произошла эта невероятная драма. В камине еще лежала зола. На столе стояли

четыре оплывшие, догоревшие свечи и валялись карты. Стулья были отодвинуты

к стенам, к остальным предметам никто не прикасался. Холмс легкими,

быстрыми шагами обошел комнату; он садился на стулья, двигал их и

расставлял так, как они стояли накануне. Он прикидывал, насколько виден

сад с разных мест. Он осмотрел пол, потолок, камин; но ни разу я не

заметил ни внезапного блеска в его глазах, ни сжатых губ, которые

подсказали бы мне, что в мозгу его мелькнула догадка.

- Зачем топили камин? - спросил он вдруг. - Даже весной топят в такой

небольшой комнате?

Мортимер Тридженнис пояснил, что вечером было холодно и сыро.

Поэтому, когда он пришел, затопили камин.

- Что вы собираетесь делать дальше, мистер Холмс? - спросил он.

Улыбнувшись, мой друг положил руку мне на плечо.

- Знаете, Уотсон, пожалуй, мне снова придется взяться за трубку и

снова вызвать ваши справедливые упреки, - сказал он. - С вашего

разрешения, господа, мы вернемся домой, ибо я не рассчитываю найти здесь

что-то новое. Я проанализирую все известные факты, мистер Тридженнис, и

если мне что-нибудь придет в голову, немедленно извещу вас и священника. А

пока позвольте пожелать вам всего доброго.

Вернувшись в Полду-коттедж, Холмс погрузился в сосредоточенное

молчание. Он сидел с ногами в глубоком кресле, весь окутанный голубыми

клубами табачного дыма; его черные брови сошлись к переносице, лоб

перерезала морщина, глаза на изможденном лице аскета уставились в одну

точку. После долгих раздумий он отбросил трубку и вскочил.

- Ничего не выходит, Уотсон! - рассмеялся он. - Пойдемте-ка лучше

побродим и поищем кремневые стрелы. Скорее мы найдем их, чем ключ к этой

загадке. Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного

материала, - все равно, что перегревать мотор. Он разлетится вдребезги.

Морской воздух, солнце и терпение - вот что нам нужно, Уотсон, а остальное

приложится.

- Теперь давайте спокойно обсудим наше положение, Уотсон, - продолжал

он, когда мы шли по тропинке над обрывом. - Нужно твердо усвоить хотя бы

то, что нам известно, для того чтобы поставить на место новые факты, когда

они появятся. Уговоримся, во-первых, что дьявольские козни тут ни при чем.

Выбросим это из головы. Отлично. Зато перед нами три несчастные жертвы

некоего намеренного или невольного преступления, совершенного человеком.

Будем исходить из этого. Идем дальше: когда это случилось? Если верить

Мортимеру Тридженнису, то, очевидно, сразу же после его ухода. Это очень

важно. Вероятно, все произошло в следующие несколько минут. Карты еще на

столе. Хозяева в это время обычно ложатся спать. Но они продолжают сидеть,

даже не отодвинув стулья. Итак, повторяю: это произошло немедленно после

его ухода и никак не позже одиннадцати часов вечера.

Проследим теперь, насколько возможно, что делал Мортимер Тридженнис,

выйдя из комнаты. Это совсем нетрудно, и он как будто вне подозрений. Вы

хорошо знакомы с моими методами и, конечно, догадались, что довольно-таки

неуклюжая уловка с лейкой понадобилась мне для того, чтобы получить ясный

отпечаток его ноги. На сыром песке она отпечаталась прекрасно. Вчера

вечером, как вы помните, тоже было сыро, и я легко проследил его путь.

Судя по всему, он быстро пошел к дому священника.

Раз Мортимер Тридженнис исчезает со сцены, значит, перед игроками в

карты появляется кто-то другой; кто же это и как ему удалось вызвать такой

ужас? Миссис Портер отпадает. Она явно ни при чем. Можно ли доказать, что

некто прокрался из сада к окну и своим появлением добился такого

трагического исхода? Единственное указание на это исходит опять-таки от

Мортимера Тридженниса, который говорил, что его брат заметил какое-то

движение в саду. Это странно, потому что вечер был темный, шел дождь, и

если тот, кто собирался напугать этих людей, хотел, чтобы его заметили, он

должен был прижаться лицом к оконному стеклу. А под окном широкая

цветочная грядка - и ни одного отпечатка ног. Трудно вообразить, как мог

незнакомец при этих обстоятельствах произвести столь жуткое впечатление; к

тому же мы не находим подходящего мотива для такого необъяснимого

поступка. Вы улавливаете наши трудности, Уотсон?

- Еще бы! - убежденно отвечал я.

- И все-таки, если у нас появятся новые данные, мы преодолеем эти

трудности. По-моему, в ваших необъятных архивах, Уотсон, найдется много

таких же неясных случаев. Тем не менее отложим дело пока не получим более

точных сведений, и закончим утро поисками неолитического человека.

Кажется, я уже говорил, что мой друг обладал исключительной

способностью совершенно отключаться от какого-либо дела, но никогда я не

поражался ей больше, чем в то весеннее утро в Корнуэлле, когда часа два

кряду он толковал о кельтах, кремневых наконечниках и черепках так

беззаботно, будто зловещей тайны не было и в помине. И только вернувшись

домой, мы обнаружили, что нас ждет посетитель, сразу же вернувший нас к

действительности. У него не было нужды представляться нам. Гигантская

фигура, огрубевшее, иссеченное морщинами лицо, горящие глаза, орлиный нос,

седеющая голова, почти достающая до потолка, золотистая борода с проседью,

пожелтевшая у губ от неизменной сигары, - эти приметы были отлично

известны и в Лондоне и в Африке и могли принадлежать лишь одному человеку

- доктору Леону Стерндейлу, прославленному исследователю и охотнику на

львов.

Мы слышали, что он живет где-то поблизости, и не раз замечали на

торфяных болотах его могучую фигуру. Однако он не стремился к знакомству с

нами, да и нам это не приходило в голову, потому что мы знали, что именно

любовь к уединению побуждает его проводить большую часть времени между

путешествиями в маленьком домике, скрытом в роще у Бичем-Эраэнс. Там он

жил в полном одиночестве, окруженный книгами и картами, сам занимался

своим несложным хозяйством и совершенно не интересовался делами соседей.

Поэтому меня удивила горячность, с которой он расспрашивал Холмса, удалось

ли ему разгадать хоть что-нибудь в этой непостижимой тайне.

- Полиция в тупике, - сказал он, - но, может быть, ваш богатый опыт

подскажет какое-нибудь приемлемое объяснение? Я прошу вас довериться мне

потому, что за время моих частых наездов сюда я близко познакомился с

семьей Тридженнисов, они даже приходятся мне родственниками со стороны

матери, здешней уроженки. Вы сами понимаете, что их ужасная судьба

потрясла меня. Должен сказать вам, что я направлялся в Африку и уже был в

Плимуте, когда сегодня утром узнал об этом событии, и тут же вернулся,

чтобы помочь расследованию.

Холмс поднял брови.

- Из-за этого вы пропустили пароход?

- Поеду следующим.

- Бог мой, вот это дружба!

- Я же сказал, что мы родственники.

- Да, помню... по материнской линии. Багаж уже был на борту?

- Не весь, большая часть еще оставалась в гостинице.

- Понимаю. Но не могла ведь эта новость попасть в плимутские газеты

сегодня утром?

- Нет, сэр. Я получил телеграмму.

- Позвольте узнать, от кого?

Исхудалое лицо исследователя потемнело.

- Вы слишком любознательны, мистер Холмс.

- Такова моя профессия.

Доктор Стерндейл с трудом обрел прежнее спокойствие.

- Не вижу основания скрывать это от вас, - сказал он. - Телеграмму

прислал мистер Раундхэй, священник.

- Благодарю вас, - отозвался Холмс. - Что касается вашего вопроса, то

я могу ответить, что мне еще не вполне ясна суть дела, но я твердо

рассчитываю добиться истины. Вот пока и все.

- Не могли бы вы сказать, подозреваете ли вы кого-нибудь?

- На это я вам не могу ответить.

- В таком случае я пришел напрасно, не стану задерживать вас более.

Знаменитый путешественник большими шагами вышел из нашего домика,

изрядно раздосадованный; вслед за ним ушел и Холмс. Он пропадал до самого

вечера, а когда вернулся, вид у него был усталый и недовольный, и я понял,

что розыски не увенчались успехом. Его ждала телеграмма, он пробежал ее и

бросил в камин.

- Это из Плимута, Уотсон, из гостиницы, - пояснил он. - Я узнал у

священника, как она называется, и телеграфировал туда, чтобы проверить

слова доктора Стерндейла. Он действительно ночевал там сегодня, и часть

его багажа действительно ушла в Африку; сам же он вернулся, чтобы

присутствовать при расследовании. Что скажете, Уотсон?

- Видимо, его очень интересует это дело.

- Да, очень. Вот нить, которую мы еще не схватили, а ведь она может

вывести нас из лабиринта. Бодритесь, Уотсон, я уверен, что мы знаем далеко

не все. Когда мы узнаем больше, все трудности останутся позади.

Я никак не предполагал ни того, что слова Холмса сбудутся так скоро,

ни того, каким странным и жутким окажется наше новое открытие, повернувшее

розыски в совершенно ином направлении. Утром, когда я брился, я услышал

стук копыт и, выглянув из окна, увидел двуколку, которая во всю прыть

неслась по дороге. У наших ворот лошадь стала, из двуколки выпрыгнул наш

друг-священник и со всех ног помчался по садовой дорожке. Холмс был уже

готов, и мы с ним поспешили навстречу.

От волнения наш гость не мог говорить, но в конце концов, тяжело дыша

и захлебываясь, он выкрикнул:

- Мы под властью дьявола, мистер Холмс! Мой несчастный приход под

властью дьявола! - задыхался он. - Там поселился сам Сатана! Мы в его

руках! - Он приплясывал на месте от возбуждения, и это было бы смешно,

если бы не его посеревшее лицо и безумные глаза. И тут он выпалил свои

ужасные новости:

- Мистер Мортимер Тридженнис умер сегодня ночью точно так же, как его

сестра!

Холмс мгновенно вскочил, полный энергии.

- Хватит места в вашей двуколке?

- Да!

- Уотсон, завтрак позже! Мистер Раундхэй, мы готовы! Скорей, скорей,

пока там ничего не тронуто!

Мортимер Тридженнис занимал в доме священника две угловые комнаты,

расположенные обособленно, одна над другой. Внизу была просторная

гостиная, наверху - спальня. Под самыми окнами - крокетная площадка. Мы

опередили и доктора и полицию, так что никто еще сюда не входил. Позвольте

мне точно описать сцену, которую мы увидели в это туманное мартовское

утро. Она навеки врезалась в мою память.

В комнате был невероятно удушливый, спертый воздух. Если бы служанка

не распахнула окно рано утром, дышать было бы совсем невозможно. Это

отчасти объяснялось тем, что на столе еще чадила лампа. У стола,

откинувшись на спинку кресла, сидел мертвец; его жидкая бородка стояла

торчком, очки были сдвинуты на лоб, а на смуглом, худом лице, обращенном к

окну, застыло выражение того же ужаса, которое мы видели на лице его

покойной сестры. Судя по сведенным судорогой рукам и ногам и по

переплетенным пальцам, он умер в пароксизме страха. Он был одет, хотя мы

заметили, что одевался он второпях. И так как мы уже знали, что с вечера

он лег в постель, надо было думать, что трагический конец настиг его рано

утром.

Как только мы вошли в роковую комнату, Холмс преобразился: внешнее

бесстрастие мгновенно сменилось бешеной энергией. Он подобрался,

насторожился, глаза его засверкали, лицо застыло, он двигался с

лихорадочной быстротой. Он выскочил на лужайку, влез обратно через окно,

обежал комнату, промчался наверх - точь-в-точь гончая, почуявшая дичь. Он

быстро оглядел спальню и распахнул окно; тут, как видно, появилась новая

причина для возбуждения, потому что он высунулся наружу с громкими

восклицаниями интереса и радости. Потом он промчался вниз, выбежал в сад,

растянулся на траве, вскочил и снова кинулся в комнату - все это с пылом

охотника, идущего по следу. Особенно он заинтересовался лампой, которая с

виду была самой обычной, и измерил ее резервуар. Затем с помощью лупы

тщательно осмотрел абажур, закрывавший верх лампового стекла, и, соскоблив

немного копоти с его наружной поверхности, ссыпал ее в конверт, а конверт

спрятал в бумажник. Наконец, после появления полиции и доктора, он сделал

знак священнику, и мы втроем вышли на лужайку.

- Рад сообщить вам, что мои розыски не остались бесплодными, -

объявил он. - Я не намерен обсуждать это дело с полицией, однако вас,

мистер Раундхэй, я попрошу засвидетельствовать мое почтение инспектору и

обратить его внимание на окно в спальне и лампу в гостиной. И то и другое

в отдельности наводит на размышления, а вместе приводит к определенным

выводам. Если инспектору понадобятся дальнейшие сведения, буду рад видеть

его у себя. А теперь, Уотсон, я думаю, нам лучше уйти.

Возможно, инспектора уязвило вмешательство частного сыщика, а может

быть, он вообразил, что находится на верном пути, во всяком случае, в

течение двух дней мы ничего о нем не слышали. Холмс в это время мало бывал

дома, а если и бывал, то дремал или курил; свои продолжительные прогулки

он совершал в одиночестве, ни словом не упоминая о том, где ходит. Однако

один опыт Холмса помог мне понять направление его поисков. Он купил лампу

- такую же, как та, что горела в комнате Мортимера Тридженниса в утро

трагедии. Заправив ее керосином, каким пользовались и в доме священника,

он тщательно высчитал, за какое время он выгорает. Другой его опыт

оказался гораздо менее безобидным, и, боюсь, я не забуду о нем до самой

смерти.

- Вы, вероятно, помните, Уотсон, - начал он как-то, - что во всех

показаниях, которые мы слышали, есть нечто общее. Я имею в виду то, как

действовала атмосфера комнаты на тех, кто входил туда первым. Помните,

Мортимер Тридженнис, описывая свой последний визит в дом братьев,

упомянул, что доктор, войдя в комнату, чуть не лишился чувств? Неужто

забыли? А я прекрасно помню. Дальше: помните ли вы, что экономка, миссис

Портер, говорила нам, что ей стало дурно, когда она вошла, и она открыла

окно? А после смерти Мортимера Тридженниса не могли же вы забыть ужасную

духоту в комнате, хотя служанка уже распахнула окно? Как я узнал потом, ей

стало до того плохо, что она слегла. Согласитесь, Уотсон, это очень

подозрительно. В обоих случаях одно и то же явление - отравленная

атмосфера. В обоих случаях и комнатах что-то горело. В первом случае -

камин, во втором - лампа. Огонь в камине был еще нужен, но лампу зажгли

после того, как рассвело, - это видно по уровню керосина. Почему? Да

потому, что есть какая-то связь между тремя факторами: горением, удушливой

атмосферой и, наконец, сумасшествием или смертью этих несчастных. Надеюсь,

вам ясно?

- Да, как будто ясно.

- Во всяком случае, мы можем принять это за рабочую гипотезу.

Предположим затем, что в обоих случаях там горело некое вещество,

отравившее атмосферу. Превосходно. В первом случае с семьей Тридженнисов

это вещество было брошено в камин. Окно было закрыто, но ядовитые пары,

естественно, уходили в дымоход. Поэтому действие оказалось слабее, чем во

втором случае, когда у них не было выхода. Это видно по результатам: в

первом случае умерла только женщина, как более уязвимое существо, а у

мужчин временно или безнадежно помрачился рассудок, что, очевидно,

является первой стадией отравления. Во втором случае результат достигнут

полностью. Таким образом, факты подтверждают теорию об отравлении при

сгорании некоего вещества.

Исходя из этого, я, разумеется, рассчитывал найти в комнате Мортимера

Тридженниса остатки этого вещества. По всей видимости, их надо было искать

на ламповом абажуре. Как я и предполагал, там оказались хлопья сажи, а по

краям - кайма коричневого порошка, который не успел сгореть. Если вы

помните, половину этого порошка я соскоблил и положил в конверт.

- Почему только половину, Холмс?

- Становиться на пути полиции не в моих правилах, Уотсон. Я оставил

им все улики. Найдут они что-нибудь на абажуре или нет - это уже вопрос их

сообразительности. А теперь, Уотсон, зажжем нашу лампу; однако, чтобы не

допустить преждевременной гибели двух достойных членов общества, откроем

окно. Садитесь около него в это кресло... если, конечно, как

здравомыслящий человек, вы не отказываетесь принять участие в опыте. О, я

вижу, вы решили не отступать! Не зря я всегда верил в вас, дорогой Уотсон!

Сам я сяду напротив, лицом к вам, и мы окажемся на равном расстоянии от

лампы. Дверь оставим полуоткрытой. Теперь мы сможем наблюдать друг за

другом, и, если симптомы окажутся угрожающими, опыт нужно немедленно

прекратить. Ясно? Итак, я вынимаю из конверта порошок, или, вернее, то,

что от него осталось, и кладу его на горящую лампу. Готово! Теперь,

Уотсон, садитесь и ждите.

Ждать пришлось недолго. Едва я уселся, как почувствовал тяжелый,

приторный, тошнотворный запах. После первого же вдоха разум мой помутился,

и я потерял власть над собой. Перед глазами заклубилось густое черное

облако, и я внезапно почувствовал, что в нем таится все самое ужасное,

чудовищное, злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова

поразить меня насмерть. Кружась и колыхаясь в этом черном тумане, смутные

призраки грозно возвещали неизбежное появление какого-то страшного

существа, и от одной мысли о нем у меня разрывалось сердце. Я похолодел от

ужаса. Волосы у меня поднялись дыбом, глаза выкатились, рот широко

открылся, а язык стал как ватный. В голове так шумело, что казалось, мой

мозг не выдержит и разлетится вдребезги. Я попытался крикнуть, но, услышав

хриплое карканье откуда-то издалека, с трудом сообразил, что это мой

собственный голос. В ту же секунду отчаянным усилием я прорвал зловещую

пелену и увидел перед собой белую маску, искривленную гримасой ужаса...

Это выражение я видел так недавно на лицах умерших... Теперь я видел его

на лице Холмса. И тут наступило минутное просветление. Я вскочил с кресла,

обхватил Холмса и, шатаясь, потащил его к выходу, потом мы лежали на

траве, чувствуя, как яркие солнечные лучи рассеивают ужас, сковавший нас.

Он медленно исчезал из наших душ, подобно утреннему туману, пока к нам

окончательно не вернулся рассудок, а с ним и душевный покой. Мы сидели на

траве, отирая холодный пот, и с тревогой подмечали на лицах друг друга

последние следы нашего опасного эксперимента.

- Честное слово, Уотсон, я в неоплатном долгу перед вами, - сказал

наконец Холмс нетвердым голосом, - примите мои извинения. Непростительно

было затевать такой опыт, и вдвойне непростительно вмешивать в него друга.

Поверьте, я искренне жалею об этом.

- Вы же знаете; - отвечал я, тронутый небывалой сердечностью Холмса,

- что помогать вам - величайшая радость и честь для меня.

Тут он снова заговорил своим обычным, полушутливым-полускептическим

тоном:

- Все-таки, дорогой Уотсон, излишне было подвергать себя такой

опасности. Конечно, сторонний наблюдатель решил бы, что мы свихнулись еще

до проведения этого безрассудного опыта. Признаться, я никак не ожидал,

что действие окажется таким внезапным и сильным. - Бросившись в дом, он

вынес в вытянутой руке горящую лампу и зашвырнул ее в заросли ежевики. -

Пусть комната немного проветрится. Ну, Уотсон, теперь, надеюсь, у вас нет

никаких сомнений в том, как произошли обе эти трагедии?

- Ни малейших!

- Однако причина так же непонятна, как и раньше. Пойдемте в беседку и

там все обсудим. У меня до сих пор в горле першит от этой гадости. Итак,

все факты указывают на то, что преступником в первом случае был Мортимер

Тридженнис, хотя во втором он же оказался жертвой. Прежде всего нельзя

забывать, что в семье произошла ссора, а потом примирение. Неизвестно,

насколько серьезна была ссора и насколько искренне примирение. И все-таки

этот Мортимер Тридженнис, с его лисьей мордочкой и хитрыми глазками,

поблескивающими из-под очков, кажется мне человеком довольно-таки

злопамятным. Помните ли вы, наконец, что именно он сообщил нам о чьем-то

присутствии в саду - сведение, которое временно отвлекло наше внимание от

истинной причины трагедии? Ему зачем-то нужно было навести нас на ложный

след. И если не он бросил порошок в камин, выходя из комнаты, то кто же

еще? Ведь все произошло сразу после его ухода. Если бы появился новый

гость, семья, конечно, поднялась бы ему навстречу. Но разве в мирном

Корнуэлле гости приходят после десяти часов вечера? Итак, все факты

свидетельствуют, что преступником был Мортимер Тридженнис.

- Значит, он покончил с собой!

- Да, Уотсон, такой вывод как будто напрашивается. Человека с виной

на душе, погубившего собственную семью, раскаяние могло бы привести к

самоубийству. Однако имеются веские доказательства противного. К счастью,

в Англии есть человек, который в курсе дела, и я позаботился о том, чтобы

мы все узнали из его собственных уст, сегодня же. А! Вот и он! Сюда, сюда,

по этой дорожке, мистер Стерндейл! Мы проводили в доме химический опыт, и

теперь наша комната не годится для приема такого выдающегося гостя!

Я услышал стук садовой калитки, и на дорожке показалась

величественная фигура знаменитого исследователя Африки. Он с некоторым

удивлением направился к беседке, где мы сидели.

- Вы посылали за мной, мистер Холмс? Я получил вашу записку около

часу назад и пришел, хотя мне совершенно непонятно, почему я должен

исполнять ваши требования.

- Я надеюсь, вам все станет ясно в ходе нашей беседы, - сказал Холмс.

- А пока я очень признателен вам за то, что вы пришли. Простите нам этот

прием в беседке, но мы с моим другом Уотсоном чуть было не добавили новую

главу к "Корнуэльскому ужасу", как называют это событие в газетах, и

потому предпочитаем теперь свежий воздух. Может быть, это даже лучше,

потому что мы сможем разговаривать, не боясь чужих ушей, тем более что это

дело имеет к вам самое прямое отношение.

Путешественник вынул изо рта сигару и сурово воззрился на моего

друга.

- Решительно не понимаю, сэр, - сказал он, - что вы подразумеваете,

говоря, что это имеет самое прямое отношение ко мне.

- Убийство Мортимера Тридженниса, - ответил Холмс.

В эту секунду я пожалел, что не вооружен. Лицо Стерндейла побагровело

от ярости, глаза засверкали, вены на лбу вспухли, как веревки, и, стиснув

кулаки, он рванулся к моему другу. Но тотчас остановился и

сверхъестественным усилием снова обрел ледяное спокойствие, в котором,

быть может, таилось больше опасности, чем в прежнем необузданном порыве.

- Я так долго жил среди дикарей, вне закона, - проговорил он, - что

сам устанавливаю для себя законы. Не забывайте об этом, мистер Холмс, я не

хотел искалечить вас.

- Да и я не хотел повредить вам, доктор Стерндейл. Простейшим

доказательством может служить то, что я послал за вами, а не за полицией.

Стерндейл сел, тяжело дыша; возможно, впервые за всю богатую

приключениями жизнь его сразил благоговейный страх. Невозможно было

устоять перед несокрушимым спокойствием Холмса. Наш гость немного

помедлил, сжимая и разжимая огромные кулаки.

- Что вы имеете в виду? - спросил он наконец. - Если это шантаж,

мистер Холмс, то вы не на того напали. Итак, ближе к делу. Что вы имеете в

виду?

- Сейчас я скажу вам, - ответил Холмс, - я скажу потому, что надеюсь,

на откровенность вы ответите откровенностью. Что будет дальше, зависит

исключительно от того, как вы сами будете оправдываться.

- Я буду оправдываться?

- Да, сэр.

- В чем же?

- В убийстве Мортимера Тридженниса.

Стерндейл утер лоб платком.

- Час от часу не легче! - возмутился он. - Неужели вся ваша слава

держится на таком искусном шантаже?

- Это вы занимаетесь шантажом, а не я, доктор Стерндейл, - ответил

Холмс сурово. - Вот факты, на которых основаны мои выводы. Ваше

возвращение из Плимута в то время, как ваши вещи отправились в Африку, в

первую очередь натолкнуло меня на мысль, что на вас следует обратить

особое внимание...

- Я вернулся, чтобы...

- Я слышал ваши объяснения и нахожу их неубедительными. Оставим это.

Потом вы пришли узнать, кого я подозреваю. Я не ответил вам. Тогда вы

пошли к дому священника, подождали там, не входя внутрь, а потом вернулись

к себе.

- Откуда вы знаете?

- Я следил за вами.

- Я никого не видел.

- Я на это и рассчитывал. Ночью вы не спали, обдумывая план, который

решили выполнить ранним утром. Едва стало светать, вы вышли из дому, взяли

несколько пригоршней красноватых камешков из кучи гравия у ваших ворот и

положили в карман.

Стерндейл вздрогнул и с изумлением взглянул на Холмса.

- Потом вы быстро пошли к дому священника. Кстати, на вас были те же

теннисные туфли с рифленой подошвой, что и сейчас. Там вы прошли через

сад, перелезли через ограду и оказались прямо под окнами Тридженниса. Было

уже совсем светло, но в доме еще спали. Вы вынули из кармана несколько

камешков и бросили их в окно второго этажа.

Стерндейл вскочил.

- Да вы сам дьявол! - воскликнул он.

Холмс улыбнулся.

- Две-три пригоршни - и Тридженнис подошел к окну. Вы знаком

предложили ему спуститься. Он торопливо оделся и сошел в гостиную. Вы

влезли туда через окно. Произошел короткий разговор, вы в это время ходили

взад-вперед по комнате. Потом вылезли из окна и прикрыли его за собой, а

сами стояли на лужайке, курили сигару и наблюдали за тем, что происходит в

гостиной. Когда Мортимер Тридженнис умер, вы ушли тем же путем. Ну, доктор

Стерндейл, чем вы объясните ваше поведение и какова причина ваших

поступков? Не вздумайте увиливать от ответа или хитрить со мной, ибо,

предупреждаю, этим делом тогда займутся другие.

Еще во время обвинительной речи Холмса лицо нашего гостя стало

пепельно-серым. Теперь он закрыл лицо руками и погрузился в тяжкое

раздумье. Потом внезапно вынул из внутреннего кармана фотографию и бросил

ее на неструганый стол.

- Вот почему я это сделал, - сказал он.

Это был портрет очень красивой женщины. Холмс вгляделся в него.

- Брэнда Тридженнис, - сказал он.

- Да, Брэнда Тридженнис, - отозвался наш гость. - Долгие годы я любил

ее. Долгие годы она любила меня. Поэтому нечего удивляться тому, что мне

нравилось жить затворником в Корнуэлле. Только здесь я был вблизи

единственного дорогого мне существа. Я не мог жениться на ней, потому что

я женат: жена оставила меня много лет назад, но нелепые английские законы

не дают мне развестись с ней. Годы ждала Брэнда. Годы ждал я. И вот чего

мы дождались! - Гигантское тело Стерндейла содрогнулось, и он судорожно

схватился рукой за горло, чтобы унять рыдания. С трудом овладев собой, он

продолжал: - Священник знал об этом. Мы доверили ему нашу тайну. Он может

рассказать вам, каким она была ангелом. Вот почему он телеграфировал мне в

Плимут, и я вернулся. Неужели я мог думать о багаже, об Африке, когда

узнал, какая судьба постигла мою любимую! Вот и разгадка моего поведения,

мистер Холмс.

- Продолжайте, - сказал мой друг.

Доктор Стерндейл вынул из кармана бумажный пакетик и положил его на

стол. Мы прочли на нем: "Radix pedis diaboli", на красном ярлыке было

написано: "Яд". Он подтолкнул пакетик ко мне.

- Я слышал, вы врач. Знаете вы такое вещество?

- Корень дьяволовой ноги? Первый раз слышу.

- Это нисколько не умаляет ваших профессиональных знаний, - заметил

он, - ибо это единственный образчик в Европе, не считая того, что хранится

в лаборатории в Буде. Он пока неизвестен ни в фармакопее, ни в литературе

по токсикологии. Формой корень напоминает ногу - не то человеческую, не то

козлиную, вот почему миссионер-ботаник и дал ему такое причудливое

название. В некоторых районах Западной Африки колдуны пользуются им для

своих целей. Этот образец я добыл при самых необычайных обстоятельствах в

Убанге. - С этими словами он развернул пакетик, и мы увидели кучку

красно-бурого порошка, похожего на нюхательный табак.

- Дальше, сэр, - строго сказал Холмс.

- Я уже почти закончил, мистер Холмс, и сами вы знаете так много, что

в моих же интересах сообщить вам все до конца. Я упоминал уже о своем

родстве с семьей Тридженнисов. Ради сестры я поддерживал дружбу с

братьями. После ссоры из-за денег этот Мортимер поселился отдельно от них,

но потом все как будто уладилось, и я встречался с ним так же, как с

остальными. Он был хитрым, лицемерным интриганом, и по различным причинам

я не доверял ему, но у меня не было повода для ссоры.

Как-то, недели две назад, он зашел посмотреть мои африканские

редкости. Когда дело дошло до этого порошка, я рассказал ему о его

странных свойствах, о том, как он возбуждает нервные центры,

контролирующие чувство страха, и как несчастные туземцы, которым жрец

племени предназначает это испытание, либо умирают, либо сходят с ума. Я

упомянул, что европейская наука бессильна обнаружить действие порошка. Не

могу понять, когда он взял его, потому что я не выходил из комнаты, но

надо думать, это произошло, пока я отпирал шкафы и рылся в ящиках. Хорошо

помню, что он забросал меня вопросами о том, сколько нужно этого порошка и

как скоро он действует, но мне и в голову не приходило, какую цель он

преследует.

Я понял это только тогда, когда в Плимуте меня догнала телеграмма

священника. Этот негодяй Тридженнис рассчитывал, что я уже буду в море,

ничего не узнаю и проведу в дебрях Африки долгие годы. Но я немедленно

вернулся. Как только я услышал подробности, я понял, что он воспользовался

моим ядом. Тогда я пришел к вам узнать, нет ли другого объяснения. Но

другого быть не могло. Я был убежден, что убийца - Мортимер Тридженнис: он

знал, что если члены его семьи помешаются, он сможет полновластно

распоряжаться их общей собственностью. Поэтому ради денег он

воспользовался порошком из корня дьяволовой ноги, лишил рассудка братьев и

убил Брэнду - единственную, кого я любил, единственную, которая любила

меня. Вот в чем было его преступление. Каким же должно было быть

возмездие?

Обратиться в суд? Какие у меня доказательства? Конечно, факты

неоспоримы, но поверят ли здешние присяжные такой фантастической истории?

Либо да, либо нет. А я не мог рисковать. Душа моя жаждала мести. Я уже

говорил вам, мистер Холмс, что провел почти всю жизнь вне закона и в конце

концов сам стал устанавливать для себя законы. Сейчас был как раз такой

случай. Я твердо решил, что Мортимер должен разделить судьбу своих родных.

Если бы это не удалось, я расправился бы с ним собственноручно. Во всей

Англии нет человека, который ценил бы свою жизнь меньше, чем я.

Теперь вы знаете все. Действительно, после бессонной ночи я вышел из

дому. Предполагая, что разбудить Мортимера будет нелегко, я набрал

камешков из кучи гравия, о которой вы упоминали, и бросил в его окно. Он

сошел вниз и впустил меня в гостиную через окно. Я обвинил его в

преступлении. Я сказал, что перед ним его судья и палач. Увидев револьвер,

негодяй рухнул в кресло как подкошенный. Я зажег лампу, насыпал на абажур

яда и, выйдя из комнаты, стал у окна. Я пристрелил бы его, если бы он

попытался бежать. Через пять минут он умер. Господи, как он мучился! Но

сердце мое окаменело, потому что он не пощадил мою невинную Брэнду! Вот и

все, мистер Холмс. Если бы вы любили, может быть, вы сами поступили бы так

же. Как бы то ни было, я в ваших руках. Делайте все, что сочтете нужным. Я

уже сказал, что жизнь свою ни во что не ставлю.

Холмс помолчал.

- Что вы думали делать дальше? - спросил он после паузы.

- Я хотел навсегда остаться в Центральной Африке. Моя работа доведена

только до половины.

- Поезжайте и заканчивайте, - сказал Холмс. - Я, во всяком случае, не

собираюсь мешать вам.

Доктор Стерндейл поднялся во весь свой огромный рост, торжественно

поклонился нам и вышел из беседки. Холмс закурил трубку и протянул мне

кисет.

- Надеюсь, этот дым покажется вам более приятным, - сказал он. -

Согласны ли вы, Уотсон, что нам не следует вмешиваться в это дело? Мы вели

розыски частным образом и дальше можем действовать точно так же. Вы ведь

не обвиняете этого человека?

- Конечно, нет, - ответил я.

- Я никогда не любил, Уотсон, но если бы мою любимую постигла такая

судьба, возможно, я поступил бы так же, как наш охотник на львов,

презирающий законы. Кто знает... Ну, Уотсон, не хочу обижать вас и

объяснять то, что и без того ясно. Отправным пунктом моего расследования,

конечно, оказался гравий на подоконнике. В саду священника такого не было.

Только заинтересовавшись доктором Стерндейлом и его домом, я обнаружил,

откуда взяты камешки. Горящая средь бела дня лампа и остатки порошка на

абажуре были звеньями совершенно ясной цепи. А теперь, дорогой Уотсон,

давайте выбросим из головы это происшествие и с чистой совестью вернемся к

изучению халдейских корней, которые, несомненно, можно проследить в

корнуэльской ветви великого кельтского языка.